

...показал мужик топор

Ребята у меня хорошие — оба низкорослые, рожи тупые-тупые, все время табак жуют, глядят исподлобья и носами шмыгают. Вылитые бандиты.

Этот, который песни пишет, как увидел моих молодцов — поплыл, хотя и сам после тюрьмы ничем от них не отличался: небритый, сутулый, в каждом встречном врага видит. Показали бы мне просто его карточку и сказали: медвежатник, — ни минуты бы не сомневался. Но следак на пересыльном сказал: какой-то поэт, из нонешних, нехорошо о Самом написал. Ну, написал и написал, таких проще этапировать: сидят тише мыши и меж собой, если не в одиночку едут, ругают Совнарком. Тут главное, чтобы они не шибко громко ругали, а то нам реагировать приходится.

Ну вот, сели мы на поезд и поехали. Эмильевич всю дорогу глаз не смыкал, все боялся, что мы его расстреляем. Хорошо, что баба его умнее оказалась, я ее, как мог, успокоил, обещал помочь, пока в Чердынь не приедем. Вроде попустило обоих. Этап — дело хлопотное и неприятное, особенно для таких элементов, тут важно с ними договориться. Только врагами зря их называют, не враги они, а так, пережитки. И, в общем, безобидные. Ну чего с этих стишков Самому сделалось бы? Подсутился кто-то из питерских следаков, и состряпали дельце, прогнуться хотели. Да неужто Сам эти стишки читал? Я вот до сих пор даже не слышал про Эмильевича, а у Самого дел вообще невпроворот, зачем ему какой-то еврей с полунеприличной фамилией?

Ну и вот, только наших клиентов попустило слегка, только они нам доверять начали, Пушкина почитать дали, как мы в Соликамск приехали. Здесь-то Осип Эмильевич чуть с катушек и не съехал. И, прошу заметить, не по нашей вине.

Сам-то я в Соликамске не раз уже бывал. И сюда возил, и дальше — в Чердынь да в Ныроб, и поодиночке, и семьями, и цельными этапами гонял. Да вы не смотрите так, не зверь же я. Эту работу тоже делать кому-то надо, причем так, чтобы никто не взбунтовался, не кинулся на конвой или, того хуже, на гражданских. А народец-то разный, не только политические, на тех, можно сказать, душой отдыхаешь, потому что в основном люди культурные и спокойные, по матушке не пошлют. По нынешним временам только на таком этапе и встретишь приличного человека. Ребята мои, хоть лицом и не вышли, а вполне соображают, чем доктор наук от урки отличается, и обхождение, заметьте, у нас в таких случаях диф-фе-рен-ци-ро-ван-

ное, прости господи, выговорил! Конечно, наш брат разный бывает, ну так то не моя вина, устав на то и устав, чтобы его каждый по-своему нарушал.

Так вот, я про Соликамск начал. Приходилось мне тут бывать, и, скажу я вам, парадокс в этом месте есть. Ну, глухомань, железную дорогу лет шесть назад только дотянули, узкоколейку. Как есть белогвардейское гнездо, пермские города вообще все сплошь контрреволюционные, а вот приедешь — спокойно на душе. Ну вражье же место, сюда спокон веков политических сгоняли, тут вообще очаг антигосударственной политики пылать должен, сплошь оппозиционеры, со Средних веков. Тут надо бы бдеть в оба глаза, а не хочется. Неспешное место, неторопное. Я, когда в первый раз приехал сюда с этапом, спросил у какого-то мужика, далеко ли до пристани? Тот говорит: два часа. Я говорю: а в метрической системе, папаша? А тот улыбается: два часа, милок, два часа. Я зверею уже: это пешком или на подводе? И, думаете, что он мне сказал? Хоть, говорит, на автомобиле, а все равно два часа. Ну, я ноги в руки, искать, кто нас повезет, потому что под конвоем два мошенника, и обоих на Вишеру надо, а "лапотник" отчаливает через час, если верить расписанию. Нашли фургон, загрузили жуликов, поехали. И в лесу — вот засада! — застряли. Пока толкали машину, пока то да се, приехали — точно, два часа прошло. В следующий раз был зимой, от вокзала взяли сани, спешить было некуда — санный путь по Каме уже открылся, так что ехали ни шатко ни валко, остановились в чайной, перекусили, на церкви полюбовались, нужду справили, двинули дальше... и тоже за два часа добрались. Это вам не Курская магнитная аномалия, это посерьезней па-ра-докс.

А уж чего понастроили за это время: глаза разбегаются. Домов всяких, заводов, башен, барачков. У них тут раньше, говорят, море было, да высохло, а соль осталась. И шибко для крестьянства полезная соль, говорят: посеешь с нею зерно — будет сто зерен, капусту посадишь — больше тыквы вырастет.

Приезжаем, выходим из вагона. Гляжу — в дальнем конце станции пульман стоит правительственный. Спрашиваю обходчика: откуда пульман?

— Нарком тяжелой промышленности приехали, у нас тут комбинат строить собираются.

— Еще один?

— А чего, места хватает пока. Железо лить будем.

— Ты, — говорю, — папаша, языком мели осторожней, я тут классовых врагов перевожу, а ты, трепло, государственные секреты разбалтываешь.

Папаша, конечно, испарился, а я конвойному говорю для поднятия духа:
— Гляди, Осип Эмильевич, сам нарком не боится в Соликамск ездить, и ты не бойся.

Но Эмильевич что-то захандрил, заерзал.

Ему, видите ли, показалось дурным знаком, что здесь заканчивается железная дорога.

— Конец, конец, — бормочет. Посмотрел на жену, вцепился ей в плечо: — Тут нам конец, понимаешь?

Ребята хмыкнули, схватили вещички и потащили к грузовику. Это, между прочим, серьезное должностное преступление: где вы видели, чтобы вертухаи помогали конвойным вещи нести? Даже будь он не Мандельштам, а сам Пушкин — не помогли бы. Хотя Пушкин, тот царей не боялся, и котомки бы свои, будьте уверены, сам бы тащил, бабе своей не доверил.

Яковлевна, та, конечно, смотрит на меня виновато — мол, простите, нервы у человека. Оно, конечно, понятно — тонкая натура, изящная словесность, но совесть тоже иметь надо, в конце концов. Мы что — спать ему не давали эти пять суток? Я рукой только махнул. Сегодня в пароход загрузимся, завтра я их в Чердыни сдам тамошнему начальнику, и прощайте, товарищи поэты. С учеными как-то поспокойнее.

И вот мы мчимся через Соликамск на открытой бортовой машине, солнышко пригревает, окрестности глаз радуют, а эта поэтическая натура держится за бабу и как-то нехорошо косит на плотника, который имел неосторожность сесть в кузове неподалеку. Персональной машины нам не положено, так что приходилось вместе с обычными гражданами ездить, а тут попутчиков вообще много оказалось: целая плотницкая артель. И все с инструментом. Вот Эмильевич смотрел на них, смотрел, и увидел этого, с топором. Мужик, справедливости ради замечу, и впрямь какой-то был... ко-ло-рит-ный. Долговязый, в красной косоворотке и с большим топором. Вылитый палач.

И Эмильевич говорит, негромко так, но все услышали:

— Петровская казнь какая-то получается.

Все посмотрели на него. Потом на мужика. И тут артельские как начали хохотать:

— Никанор, да ты никак кровь с топора стереть забыл! Вон арестанты волнуются!

— Тюкай аккуратнее, Коля, браку не допусти!

— Да здесь-то не маши, погоди, в лес заедем!

И смех, и грех. Эмильевич глазами лупает, ничего понять не может,

Яковлевна покраснела, а ребята мои, как ни в чем не бывало, жуют табак да по сторонам поглядывают. Я тоже не реагирую: коли смеются, так и переживать нечего, главное, чтоб до ругачки не дошло.

Никанор этот, конечно, насупился, но понимающий мужик оказался. Посмотрел на Эмильевича этак злодейски и говорит:

— У моих курей шеи в два раза толще, а тут инструмент затупить можно.

Артельские еще больше хохотать, а тетка мой нахохлился, чтобы, значит, незаметнее казаться. Еще бы — он тут хотел жертвой прикинуться, а его тощей курицей обозвали.

Так вот, с шутками да прибаутками доехали мы до пристани. Там уже "лапотник" под парами, и я, чтобы только ослабить напряжение, снял с Эмильевича наручники и купил им с Яковлевой отдельную каюту. Бог с ним, с уставом, с парохода они никуда не денутся. Да и куда? Кругом лес, лагеря, денег нет. Это жулик в побег может рвануть, а политические — они безобидные. Их там полная Чердынь уже набилась, так что и моим скучно не будет.

В дороге Эмильевич совсем захворал, так что по прибытии мы его тут же в больницу определили, и я к начальнику комендатуры зашел, командировочные отметить и потолковать.

— Вы этого клиента не обижайте, он на голову слабый, набедокурит еще.

Комендант злой, как собака, — марксисты ссыльные одолели — отвечает:

— Ну и набедокурит, хрен с ним. У меня своих кормить нечем, на подножном корму живут. Ладно, лето сейчас, а что зимой делать? Работы нет на ссыльных, местные с ними не водятся, боятся. А зимой еще теплые вещи нужны, валенки, дрова. Как я их снабжать буду? А помрет кто — отвечать обратно мне. Так что пусть бедокурит.

И ведь как в воду глядел! Выбросился Эмильевич из окна, в первую же ночь. Со второго этажа. Ну что за люди, даже помереть толком не могут, все у них с заломленными локтями и наполовину. Плюнул я в сердцах, даже Яковлеву не пожалел, и поплыли мы восвояси, от греха подальше.

Вот чапает наш пароход вниз по Колве, шлепает по воде, будто пятками, а я думаю: чего не живется людям, чего они все протестуют, бегают, стишки всякие пишут оскорбительные? Вон, другие железо льют, соль со дна моря таскают. Ну, не нравится тебе, чего в Париж не уехал? Нет, бегают, кричат, контрреволюцию разводят. И жалко их, и досадно: чего вам не живется, чай, не царизм, все равны, все пути открыты. Ну да, кому-то чего-то нельзя, рылом не вышел. Но ведь можно и перебиться.

И Сашка, один из моих ребят, говорит человеческим голосом, будто и не вертухай он:

— А зачем мой батя революцию делал? Чтобы перебиваться?

Я, оказывается, вслух это все говорил, а он слушал.

Не люблю я таких разговоров. Сомнения они всякие будят, а где сомнения — там контрреволюция и прочее томление духа. Приказал я Сашке отставить такие разговоры и спать лег. И приснилось мне, будто я важнейший враг народа, и меня Сам лично этапирует в Чердынь. Сидит он напротив меня в красной рубаше, топор оселком точит. Вжик! — посмотрит на меня через лезвие, и снова — вжик! А потом говорит:

— Что же ты, Осип, имеешь против нашей советской власти?

— Ничего, — отвечаю, — Осип Виссарионович. Ошибка это.

— Может, тебе наши стройки не нравятся? — спрашивает.

— Нравятся.

— Может, ты жизнью недоволен?

— Доволен, товарищ Сталин.

— Так почему же ты, Осип, не в колхозе родном перебиваешься, а вертухаем на этапе?

И вот я сплю и думаю: а правда, почему?

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца, —

Там помянут кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

И слова, как пудовые гири, верны.

Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища.

А вокруг его сброд толстокожих вождей,

Он играет услугами полулюдей.

Как подковы кует за указом указ —

Кому в лоб, кому в бровь, кому в пах, кому в глаз.

Что ни казнь у него, то малина

И широкая грудь осетина.

Москва

